

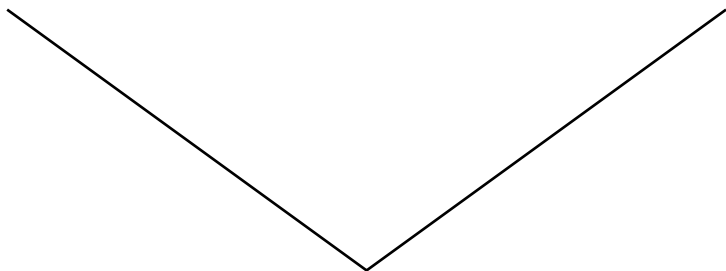
Алина Батталова

Старший дизайнер продукта в Карьерном
портале Яндекса

Есть в мире много классных вещей, которые можно получить за деньги. Они дарят комфорт и даже шик. Но иногда натыкаюсь на чеки у себя в карманах и думаю: «Это всё, что остается от меня?» Так и в рассказе Бунина: путешествие на лайнере первым классом ведет к скомканному финалу целой жизни.

Господин из Сан-Франциско

Иван Бунин



УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б91

Иллюстрация на обложке
Алина Батталова

Бунин, Иван Алексеевич.

Б91 Господин из Сан-Франциско / Иван Бунин. — Москва : Эксмо, 2026. — 256 с. — (100 из 100. Суперсерия).

ISBN 978-5-04-231643-2

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) — безупречный мастер русской прозы, первый русский лауреат Нобелевской премии (1933).

Рассказ «Господин из Сан-Франциско» повествует о ничтожности богатства и власти перед лицом смерти. В центре повествования американский миллионер, который едет в отпуск на пароходе в Италию, не представляя, что планам его не суждено сбыться...

В сборник также вошли рассказы о любви, духовных исканиях, бренности жизни, одиночестве и утратах: «Петлистые уши», «Святые», «Сны Чанга», «Чаша жизни», «Поздней ночью», «Прекраснейшая солнца», «Тень птицы», «Без роду-племени», «Роза Иерихона», «Игнат», «При дороге», «В ночном море» и «Три рубля».

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© ООО «Яндекс Музыка», художественное оформление, 2026

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

ISBN 978-5-04-231643-2

Петлистые уши

Необыкновенно высокий человек, который называл себя бывшим моряком, Адамом Соколовичем, многим встречался в этот темный и холодный день то возле Николаевского вокзала, то в разных местах Невского проспекта. С панели Лиговки он с непонятной серьезностью, смотрел на памятник Александру III, на вереницу трамвайных вагонов, описывающих круг по площади, на черные людские фигуры, на извозчиков и ломовых,двигающихся к вокзалу, на огромный почтовый автомобиль, выезжающий из-под вокзальной арки, на дроги, увозившие куда-то среди этого движения нищенский, никем не провожаемый ярко-желтый гроб; стоя на Аничковом мосту, он сумрачно заглядывался на темную воду, на посеревшие от нечистого снега баржи; бродя по Невскому, внимательно изучал товары в окнах магазинов. Не заметить и не запомнить его было нельзя, и всякий, кому он попадался на глаза, испытывал чувство смутной неприятности, какого-то беспокойства и, отворачиваясь, думал:

— Ах, какой ужасный господин!

Его обувь, узкие брюки, драповое пальто, забрызганное сзади грязью, и кожаный английский картуз говорили о том, что они носятся давно бесшумно и во всякую погоду. Необыкновенно высокий, худой и не-

складный, долгоногий и с большими ступнями, с свежесбритым ртом и желтоватой, довольно редкой американской опушкой под сильно развитой нижней челюстью, с лицом мрачным, недоброежелательным и сосредоточенным, не выпуская длинных рук из карманов и равномерно жуя мундштук папиросы, он подолгу стоял перед витринами. Точно ли уж так интересовали его все эти галстуки, часы, чемоданы, писчебумажные принадлежности? Сразу было видно, что нет, что он из числа тех странных людей, которые скитаются по городу с утра до вечера единственно потому, что могут думать только на ходу, на улице, или вследствие бездомности, в ожидании чего-нибудь.

Вечер он провел в дешевом ресторане недалеко от Разъезжей, с какими-то двумя матросами.

Не раздеваясь, все трое сидели в тусклой и холодной комнате за неудобным столиком у стены, причем Соколович поместился особенно неудобно: в спину ему глядел маленький круглоголовый татарин, стоявший в глубине комнаты за стойкой с закусками, перед глазами у него торчала на стене реклама пивного завода, изображающая трех счастливых хлыщей в цилиндрах на затылок и с пенящимися бокалами в руках, справа поминутно дуло ледяной сыростью, приносимой входящими с улицы посетителями, а слева веяло ветром от пробежавших к стойке и обратно официантов: тут был порог в три ступеньки — ход в коридорчик, откуда пахло кухней и кислотой газа, — и видна была открытая дверь в бильярдную, сверху темную, а внизу светлую, где крепко щелкали шары и ходили с киями на плечах и в одних жилетах безголовые мужчины: головы их терялись в сумраке. Садясь на свое беспо-

койное место, Соколович вынул из кармана пальто трубку и, перекосив брови, пристально посмотрел на пивную рекламу. Матросы разговаривали с подошедшим официантом, а он стал набивать трубку табаком и, ни к кому не обращаясь, медлительно сказал своим густым голосом:

— Почему собирают всякий вздор, а не собирают рекламы, то есть исторические документы, наиболее правдиво рисующие человеческие идеалы? Разве, например, вот эти франты не выражают мечту девяти десятых всего человечества?

— Вы ж сами панский сын, — неприязненно заметил на это один из матросов, Левченко.

— Я сын человеческий, — сказал Соколович с какой-то странной торжественностью, которая могла сойти и за иронию. — Мое панство не помешало мне видеть мир и всех богов его. Не помешало даже быть шофером... Это, знаете, очень острое удовольствие — видеть, как несется на тебя улица и как мечется впереди, не зная, в какую сторону кинуться, какая-нибудь прекрасная дама.

И, сказав, закурил, поставил локоть на стол, придерживая трубку крупной левой рукой, на которой под обшлагом не видно было рубашки и на удлиненной плоской кисти синела татуировка — изогнутый японский дракон.

Весь вечер пили из чашек, под видом чая, кавказский коньяк, закусывая мятными розовыми пуговками, и немилосердно дымили. Матросы, как все рабочие люди, постоянно оскорбляемые жизнью, много говорили, каждый стараясь говорить только о себе, выискивали в памяти наиболее низкие поступки сво-

их врагов и притеснителей, хвастались — один будто бы дал однажды «в харю» придиричивому помощнику капитана, другой вышвырнул за борт боцмана, — и все спорили, поминутно крича:

— Ну, хотите пари?

Соколович сосал трубку, двигал челюстью и угрюмо молчал. Завсегдатай всяческих притонов от Кронштадта до Монтевидео, он, однако, никогда не пьянствовал, любил только джиджер, абсент. В этот вечер он не отставал в питье от своих компаньонов, но наружно хмель не оказывал на него влияния. И это тоже задевало матросов, тем более что их, как они признавались впоследствии, всегда раздражало сильное и отталкивающее лицо Соколовича, его склонность к загадочной задумчивости и то, что они хорошенько не знали и не могли понять ни его характера, ни его прошлого, ни его теперешней бездомности и бездельной жизни. Левченко, пьяневший довольно быстро, раз крикнул ему:

— От тоже тип! Мы ж вас угощаем, что ж вы не разделяете компании, а только смокчете свою копченую люльку?

И Соколович грубо и спокойно осадил его:

— Не орите, сделайте милость. Это меня сердит. Я уж не раз говорил вам, что вино на меня мало действует и не доставляет мне особого удовольствия. Вкус у меня приглушенный. Я так называемый выродок. Поняли?

Левченко смутился и ответил с напускнутой развязностью:

— Ну, да и вы тоже не задавайтесь, пожалуйста! Что такое я понял? Когда б вы были выродок, вы бы были больной и на вино слабый, а вы мне рассказыва-

ете обратно. Вы человека можете убить одной рукой, а говорите...

– А говорю правильно – перебил Соколович, возвышая голос. – У всякого выроodka одни восприятия и способности обострены, повышены, а другие, напротив, понижены. Поняли? И сила тут совсем ни при чем.

– А как же я того выроodka узнать могу, если он здоровый, как той кабан? – насмешливо спросил Левченко.

– А по ушам, например, – ответил Соколович не то всерьез, не то насмешливо. – У выроdkов, у гениев, у бродяг и убийц уши петлистые, то есть похожие на петлю, вот на ту самую, которой и давят их.

– Ну, знаете, убить всякий может, если разгорячится, – небрежно вставил другой матрос, Пильняк. – Я раз в Николаеве...

Соколович выждал, пока он кончит, и сказал:

– Я, Пильняк, тоже подозреваю, что эти уши при-
сущи не одним только так называемым выроdkам. Страсть к убийству и вообще ко всякой жестокости сидит, как вам известно, в каждом. А есть и такие, что испытывают совершенно непобедимую жажду убийства – по причинам весьма разнообразным, например в силу атавизма или тайно накопившейся ненависти к человеку, – убивают, ничуть не горячась, а убив, не только не мучаются, как принято это говорить, а, напротив, приходят в норму, чувствуют облегчение – пусть даже их гнев, ненависть, тайная жажда крови вылились в форму мерзкую и жалкую. И вообще пора бросить эту сказку о муках совести, об ужасах, будто бы преследующих убийц. Довольно людям лгать, будто они так уж содрогаются от крови. Довольно сочинять

романы о преступлениях с наказаниями, пора написать о преступлении без всякого наказания. Состояние убийцы зависит от его точки зрения на убийство и от того, ждет он за убийство виселицы или же награды, похвал. Разве, например, признающие родовую месть, дуэли, войну, революцию, казни мучаются, ужасаются?

— Я читал «Преступление и наказание» Достоевского — заметил Левченко не без важности.

— Да? — сказал Соколович, поднимая на него тяжелый взгляд. — А про палача Дейблера вы читали? Вот он недавно умер на своей вилле под Парижем восьмидесяти лет от роду, отрубив на своем веку ровно пятьсот голов по приказу своего высокоцивилизованного государства. Уголовные хроники тоже сплошь состоят из записей о самом жестоком спокойствии, цинизме и резонерстве самых кровавых преступников. Но дело однако не в вырожденках, не в палачах и не в каторжниках. Все человеческие книги — все эти мифы, эпосы, былины, истории, драмы, романы — все полны такими же записями, и кто же это содрогается от них? Каждый мальчишка зачитывается Купером, где только и делают, что скальпы дерут, каждый гимназист учит, что ассирийские цари обивали стены своих городов кожей пленных, каждый пастор знает, что в Библии слово «убил» употребляется более тысячи раз и по большей части с величайшей похвалой и благодарностью творцу за содеянное.

— Зато это и называется Ветхий завет, древняя история, — возразил Левченко.

— А новая такова, — сказал Соколович, — что от нее встала бы шерсть у гориллы, умей она читать... Ну, нет, — сказал он, кося брови и отводя глаза в сторону, —

с Каином гориллам двуруким нечего равняться! Далеко ушли они от него, давно потеряли наивность — вот с тех самых пор, вероятно, как построили Вавилон на месте своего так называемого рая. У горилл настоящих еще не было ни этих ассирийских царей, ни Цезарей, ни инквизиции, ни открытия Америки, ни королей, подписывающих смертные приговоры с сигарой во рту, ни изобретателей подводных лодок, пускающих ко дну сразу по несколько тысяч человек, ни Робеспьеров, ни Джеков-потрошителей... Как вы думаете, Левченко, — спросил он, снова поднимая строгие глаза на матросов, — мучились все эти господа муками Каина или Раскольникова? Мучились всякие убийцы тиранов, притеснителей, золотыми буквами записанные на так называемые скрижали истории? Мучаетесь вы, когда читаете, что турки зарезали еще сто тысяч армян, что немцы отравляют колодцы чумными бактериями, что окопы завалены гниющими трупами, что военные авиаторы сбрасывают бомбы в Назарет? Мучается какой-нибудь Париж или Лондон, построенный на человеческих костях и процветающий на самой свирепой и самой обыденной жестокости к так называемому ближнему? Мучился-то оказывается, только один Раскольников, да и то только по собственному малокровию и по воле своего злобного автора, совавшего Христа во все свои бульварные романы.

— Майна! Поехало! — крикнул Левченко, желая перевести в шутку уже тяготивший его разговор.

Соколович помолчал и, сплюнув между колен, спокойно добавил:

— В войнах участвуют теперь уже десятки миллионов. Скоро Европа станет сплошным царством убийц.

Но ведь всякий отлично знает, что мир ни на йоту не сойдет с ума от этого. Говорили когда-то, что на Сахалин поехать очень страшно. Но желал бы я знать, кому придет в голову побояться поехать через год, через два, когда кончится война, по Европе?

Пильняк стал рассказывать о своем дяде, который зарезал из ревности свою жену. Соколович, послушав, заметил в сумрачном раздумье:

— Людей вообще тянет к убийству женщины гораздо больше, чем к убийству мужчины. Наши чувственные восприятия никогда не бывают так внимательны к телу мужчины, как к телу женщины, низкому существу того пола, который родит всех нас, отдаваясь с истинным сладострастием только грубым и сильным самцам...

И, поставив локти на колени, снова замолк и как бы забыл о своих собеседниках.

В одиннадцатом часу, небрежно свысока простясь с матросами, оставшимися сидеть в ресторане, он опять направился к Невскому.

Яркое освещение Невского подавлял густой туман, такой холодный и пронзительный, что у полицейского офицера, управлявшего на углу Владимирской водоворотом надвигавшихся друг на друга карет, саней и глазастых автомобилей, усы казались седыми, белыми. Возле Палкина отчаянно бил и ерзал по скользкой мостовой копытами, силясь справиться и вскочить, упавший на бок, на оглоблю, вороной жеребец, которому торопливо и растерянно помогал бегавший вокруг него лихач, очень странный в своей чудовищной юбке, и кричал, махая рукой в нитяной перчатке, разгоняя народ, краснолицый великан-городовой, плохо двигав-

ший одеревеневшими от стужи губами; до слуха Соколовича донеслось, что задавлен какой-то переходивший улицу старик с белой бородой и в длинной енотовой шубе, будто бы знаменитый писатель, но Соколович даже не приостановился. Он повернул на Невский.

Некоторые обгоняли его с удивлением заглядывали ему снизу в лицо, некоторых обгонял он сам. Запустив руки в карманы и приподняв плечи, пряча влажную от тумана челюсть в ворот и косясь на мелкую черную толпу, бегущую перед ним, почти противоположенно выделяясь над этой толпой своим ростом, он мерно клал по панели свои длинные ступни, все время начиная с левой ноги и делая левый шаг шире правого. От электрических столбов падали в дым тумана угольные тени. Густо, с однообразным топотом катились в этом дыму заиндевшие извозчичьи лошади; рысаки неслись среди них, выделяясь силой и нахальством, кидая из ноздрей пар, мешавшийся с летевшими по ветру дымными волнами; вихрем промелькнула бешено мчавшаяся пара — молоденький офицер, крепко охвативший талию дамы, прижавшейся к нему и спрятавшей лицо в каракулевую муфту... Соколович замедлил шаги и долго глядел вслед этой паре, туда, где в ледяной мути огромного потока, которым казался Невский, терялась бесконечная цепь винно-красных трамвайных огней и вспыхивали зеленоватые зарницы. Большое лицо его было свирепо в своей сосредоточенности.

Он наискось пересек Аничков мост и пошел по другой стороне проспекта. Ветром и туманом понесло сильнее, вдали, в темной и мглистой высоте, означилась красноватый глаз часов на башне городской думы.

Соколович остановился и довольно долго стоял, закуривая папиросу и исподлобья оглядывая бесконечно и медленно проходивших мимо уже появившихся на панели проституток; за ним было громадное зеркальное окно запертого печально по-ночному, освещенного магазина, откуда неподвижно смотрели восковые красавцы блондины с большими редкими ресницами, в дорогих пальто и шубах, с деревянными ножками, мертво торчащими из-под модных, великолепно заглаженных панталон... Потом он зашагал дальше, дошел до обезглавленного туманной темнотой Казанского собора и поднялся на крыльцо Доминика.

Там, в тесной толпе, евшей и пившей стоя и не раздеваясь, точно на улице, он сел в темном углу — светло было только над стойкой, осаждаемой толпой, — и спросил себе черного кофе. Совершенно неожиданно появился у его столика какой-то щуплый господин в котелке, с озябшим личиком, быстро попросил позволения взять серник из спичечницы и, быстро осветив его, скороговоркой спросил:

— Простите, пожалуйста, вы мне ужасно напоминаете одного моего виленского знакомого Яновского?

Соколович твердо посмотрел ему в глаза и с тяжеловесной серьезностью ответил:

— Вы ошибаетесь, господин сыщик.

У Доминика он просидел до часа ночи. Наконец опустевший зал ресторана наполнился стуком стульев, которые, переворачивая, швыряли на столики ставшие вдруг вольными и грубыми лакеи. Он взглянул на свои большие серебряные часы и поднялся с места.

Ночь в туман Невский страшен. Он безлюден, мертв, мгла, туманящая его, кажется частью той са-

мой арктической мглы, что идет оттуда, где конец мира, где скрывается нечто непостижимое человеческим разумом и называется Полюсом. Середина этого дымного потока еще озарена сверху белесым светом электрических шаров. На панелях, возле черных витрин и запертых ворот, темнее. По ним, напевая, гуляющим шагом, бродят беспечные на вид, но до нутра продрогшие от ледяной сырости, дешево и несоответственно обстановке наряженные женщины, и лица некоторых из них поражают таким ничтожеством черт, что становится жутко, точно натыкаешься на существо какой-то иной, чем люди, неведомой породы.

Соколович, выйдя от Доминика и пройдя шагов двести, взял из этих женщин некую, как оказалось потом, Королькову, называвшую себя просто Корольком, небольшую, мелкую, но от дурной модной одежды на вид широкоую, в шляпке, как-то очень сложно и тоже широко сделанной из черного бархата и украшенной пучком стеклянных вишен. Широкоскулое личико ее с черными, глубоко запавшими глазками имело в себе нечто, напоминавшее летучую мышь. Покачивая головой с притворной развязностью, даже как бы с некоторым сознанием неотразимости своего пола, держа одной рукой юбку, а другой, вдетой в большую плоскую муфту из блестящего черного меха, закрывая рот, она вдруг загородила дорогу сутуло шагавшему Соколовичу. Он, зорко окинув ее взглядом, тотчас же густо крикнул стоявшему на углу ночному извозчику. И вот, усевшись в низкую пролетку, покатила эта пара сперва по Невскому, потом по площади, мимо светящихся часов Николаевского вокзала, уже темного, отпустившего все свои поезда вглубь снежной России, мимо той